XII в. пропуск и наличие номинативной формы личных местоимений в предложении обменялись функциями.

Упустив из виду ретроспективный характер древнерусского перфекта и отождествив эту форму с ее отпрыском — прошедшим временем нынешней русской речи, интерпретаторы, естественно, не приметили, что в «Слове» Боян представлен воистину вещим песнотворцем, предвосхищавшим события в своих «припевках», и в результате этого пробела датировка его легендарной деятельности вызвала непреодолимые трудности, приводившие в недоумение уже первых издателей «Слова». Точно так же непонятными казались слова 152 «бѣше насиліе... на седмомь вѣцѣ», поскольку забывалось, что в древнерусском языке «век» означал не столетие, а тысячелетие.

Глубокая связь «Слова» с византийской письменностью, подмеченная Всеволодом Миллером и А. Н. Веселовским, требовала новых разысканий (см. VIIIл, X, XXI). Согласно византийской эсхатологической литературе, которую на славянском востоке усердно переводили и цитировали, «седьмой век», т. е. седьмое тысячелетие с сотворения мира, воспринимался как эпоха небывалых насилий и катастроф, за которой наступит светопреставление. Особенно пугало книжников седьмое столетие седьмого тысячелетия, «седморичное седмовремя», и на его пороге — в 6600—6604 гг. (1092—1096) — «Повесть временных лет» полна эсхатологических намеков, летописец широко цитирует и парафразирует «Откровение» Мефодия Патарского и сквозь призму этих пророчеств воспринимает злободневные бедствия. Поход Игоря в 6693 (1185) г., т. е. за семь лет до конца седьмого столетия, вторично вызывает реминисценции из Мефодия как в рассказе, вошедшем в Ипатьевскую летопись, так и в «Слове». Символика «Откровения» и других эсхатологических писаний воспроизведена в «Слове» и, в частности, дает ключ к его образам пустыни, покрывшей силу (75), девы Обиды и плеска лебяжьих крыльев, пробудившего смуту (76) и вслед за смутой победоносные набеги поганых (77—78). Как сложен литературный фон «Слова», свидетельствует, например, греческая фраза заглавного героя в одной из версий Александрии: «То, что здесь, и то, что там, все мое», повторенная почти дословно в том же пассаже «Слова» (77).[9]

Экзегеза приступа к «Слову» в свою очередь выигрывает от сопоставления с двумя прологами — одним к Хронике Манассии и другим к Троянской повести, вставленной в ту же Хронику. Наиболее тесно начальные строки «Слова» примыкают ко второму прологу: повторены все его мотивы, и место волшебного Гомера занято вещим Бояном.

Главная трудность «Слова» лежит отнюдь не в лексике и не в грамматике, а в его стилистическом многообразии. Причудливая игра на цепи сходств и контрастов, на смежности и дальности в пространстве и времени, сплетение настоящего с прошлым и будущим, историзма с предзнаменованиями, острое сочетание различных литературных жанров, приемы загадок, сжатый намек взамен повествования, заведомая разнородность языковых средств — все это роднит поэтику «Слова» с другими характерными произведениями затрудненного, сокровенного, притчно-иносказательного стиля, овладевшего на исходе XII и в начале XIII в. поэзией русской и западной, скандинавской и провансальской, кельтской и немецкой, греческой и латинской. Подобно «Молению Даниила Заточника» и «Слову о Лазаре в аду», «трудная повесть» о полку Игореве требует от интер-

---

[9] H Grégoire La Geste du Prince Igor — Bulletin de la classe morale et politique de l'Académie Royale de Belgique, 1948, стр 150 и сл